

Тимофей ШЕРУДИЛО

ВРЕМЯ СУМЕРЕК

Ф р а г м е н т ы

VI. О ХУДОЖЕСТВЕ

Дело писателя (поэта, художника) кажется в наши дни предельно простыми понятным. Художественное творчество объясняют при помощи нескольких мифов — простых и простейших объяснений довольно сложных вещей. Несложные объяснения, как всегда бывает, пользуются успехом, но не помогают понять суть искусства, а только затемняют ее.

Самый распространенный миф: будто художник в своих трудах «выражает себя». Это «самовыражение» — общее место в представлениях о искусстве. Чем затейливее его ароматы, чем причудливее формы — тем оно совершеннее. О содержании источника пряных запахов неприлично и спрашивать... Всякое объективное значение искусства таким пониманием уничтожается.

Еще излюбленное мнение: будто искусство тем выше, чем больше запретов, нравственных или эстетических, оно нарушает; больше того — будто чем дальше «самовыражающаяся личность» от нормы, тем ближе она к гениальности.

Это взгляд внешний и поверхностный. В действительности мера художественного совершенства не здесь. Искусство может быть ярко, остро, приманчиво, увлекательно, но это все его внешние признаки. Внутренний корень искусства — понимание. Определенное понимание человека и мира отливается в определенные формы, но для творца эти формы второстепенны, публика же видит только их и укрепляется в заблуждении: «искусство есть совокупность внешних приемов», и чем пестрее и разнообразнее эти приемы, тем лучше для творчества.

Все не так. Не привлечение публики, а истина и глубина (на деле, сложное, до неразделимости цельное понятие) — цель искусства. Где верят в истину, там не радуются «многообразию мнений». Смешно представить «толерантную физику»: ученые рукоплещут «интеллектуальному разнообразию». Толерантная литература, в которой истину принесли в жертву «многообразию», тоже нелепа.

Искусство отлично от науки, но не во всем. Как и наука, оно упорядоченно, верит в наличие порядка в своем предмете (здесь: человеке), выбирает те средства, какие помогают этот порядок найти, а не затемнить. Цели искусства объективны, т.е. вне художника.

С верой в то, что художник занят «самовыражением», связано другое заблуждение: будто талант «межнационален». Этот «межнациональный», т.е. беспочвенный, талант сидит будто бы в пустоте и сам из себя порождает художественный космос... Картина величественная, но глупая; дарований космической величины не бывает; гениальность, когда она есть, благодарно питается почвой своей национальной культуры, воздухом определенной эпохи в народной жизни (не обязательно теперешней).

Уничтожение культурной почвы (Россия им обязана революции; Запад — мировым войнами последовательной демократизации) означает упадок личной годности, так как не в человеческих силах ходить по воздуху. И напротив: где почва хоть насколько цела, есть надежда на рост личной годности, даже в неблагоприятной среде. (Под личной годностью понимаю здесь ответственность, способность суждения, внутреннюю сложность.)

Предвижу вопрос: зачем личности еще какая-то почва, не довольно ли воспитания, некоей «образованности», здравого смысла? К сожалению, нет. Почва есть, кроме

прочего, запас понимания, склад накопленных сложных форм поведения и мысли, потому необходимый, что у отдельной личности нет ни времени, ни кругозора, ни опыта для того, чтобы к этому пониманию, этим формам прийти самостоятельно. Почва нужна, чтобы не остаться в вечном детстве, постигая давно постигнутое; она сокращает время, нужное для приобретения опыта, потому что складывается трудом поколений.

О другом мифе — будто достоинства произведения связаны с числом им нарушенных запретов — надо сказать: это подростковая болезнь вкуса. Корни ее глубоко: еще прежняя интеллигенция поклонялась «смелости и честности»; советская эпоха довершила дело. Глубокое, серьезное, тонкое было изгнано из культуры. Почти все темы прежнего искусства стали запретными. В старом мире как искусство, так и философия занимались отношениями личности с миром — от любовных переживаний до тайн познания. «Партия» оставила творцу разработку единственной темы: служения государству. Человеческое, личное, частное было терпимо только в виде примечания на полях.

Из запретности глубокого — по понятной, но непростительной ошибке — был сделан противоестественный вывод о глубине запретного. Не безучастия революции (пусть и отрицательного) создалось понимание искусства как области извращений.

На самом же деле в области искусства, как и в «точных» видах познания, ум располагают к себе глубокие и верные суждения. И в искусстве он ищет истин — не форм, не чувств, не развлечений как таковых. Не то произведение, которое только развлечет, а то, которое научит и заставит мыслить, ценит хоть сколько-то пробужденный ум. Повинюсь: сказав «истин», я выбрал неверное слово. Разум в искусстве ищет пищу: как для мысли, так и для воображения. Питательность, богатство, глубина — таинственно связаны с истиной помимо воли автора и читателя.

Искусство субъективно по своему происхождению, достигает ума и сердца также субъективно, по личной склонности, но объективно по своему содержанию: тем или иным истинам о человеке и жизни. Без желания учить и учиться, делиться и усваивать нети искусства. Художник не «творит» из ничего. Не «выражает» какие-то внутренние «тайности». Он видит и рассказывает об увиденном. Читатель, зритель — не просто с разинутым ртом созерцает каскад форм и красок, но соучаствует в творении (или убивает его своим равнодушием, неспособностью впустить в себя).

Распространенные же мифы о искусстве удобны тем, что освобождают публику от внутреннего труда, да и художника из ответственного труженика превращают в смотрятеля кунсткамеры. Простота — обычная черта ложных объяснений.

XVII. МЫСЛИ И МНЕНИЯ

Наше время много говорит о ценности свободного выражения мнений. Под «мнением» понимается нечто самоценное и священное; «многообразие мнений» стало высшим культурным благом... Пора исследовать это священное мнение и определить, если возможно, его истинную цену.

Есть два вида «мнений». С одной стороны, так называют высказанное отношение человека к любому вопросу. С другой, всякого рода (как сейчас модно говорить) «самовыражение» в творчестве — тоже мнение. Те и другие мнения сейчас полагается приветствовать, как бы дики они ни были.

Поговорим о мнении — плоде встречи с новизной, со всяким новым вопросом.

Это отношение может быть и продуманным, и обоснованно выраженным, но в действительности редко им бывает. Как правило (речь не идет о суждениях обоснованных) человек случайно сталкивается с чем-то для себя новым и наскоро вписывает это новое в свою картину мира — или вычеркивает из нее как неуместное. То и другое он делает не под влиянием мысли, но силой чувства. «Многообразие» этих чувств при встрече случайного человека с новыми мыслями и явлениями и объявлено священным. Выработка определенного внутреннего отношения к вещам естественна и необходима. Вопрос в том, обладает ли оно общеобязательной ценностью.

Важные, большие вопросы неподготовленный человек предпочитает не решать, конечно (не все вопросы вообще имеют решение), но хотя бы затрагивать — только чувством. Отторжение или отрицание — естественный отклик на новое и непонятное. Чтобы задуматься, нужно подавить этот естественный отклик, выйти из состояния покоя и сделать усилие. Мысль при встрече с новым никоим образом не «естественна». Естественно было бы — испугаться или возмутиться и затем забыть.

Если ум все-таки пробуждается от столкновения с неизвестным, у него есть два пути. Или задаться вопросами: «что это значит для меня? отвечает ли моему опыту?»

Или сравнить новое утверждение со списком наличных истин и, не найдя — отбросить. К сожалению, образование чаще дает человеку список готовых истин, чем желание задавать вопросы. К еще большему сожалению, образование воспитывает не скепсис по отношению к наличным «истинам», но слепое отвержение всего, что в них не входит.

Первый путь есть путь мысли. Второй — путь (неосновательных) «мнений». В известном возрасте — мнения обаятельнее мыслей. Они воспаляют чувство; делают одиночку частью некоего «мы»; как правило, они обвиняют, т. е. ставят личность на уровень выше окружающих (по обычному обману зрения, обвиняющий всегда нравственно выше обвиняемого)...

«Мнения» не признак зрелости, совсем напротив. Наиболее склонен к мнениям ум невоспитанный и малознающий. Для многих «иметь мнение» — то же самое, что «заявить несогласие». Согласие принимается за признак отсутствия мнений, если не за прямое малодушие. Однако одобрение вещей или хотя бы признание наличного положения меньшим злом может быть основано на понимании, а не на желании приспособиться.

Среда школьников, студентов, членов политических кружков — вся пропитана «мнениями», но не содержит ни одной мысли. Мысль (мы к этому неизбежно приходим) есть нечто качественно отличное от мнения. В чем их различие?

Мысль основывается на погружении в предмет. Мнение есть знак согласия или несогласия, благодаря которому свои узнают своих; метка, по которой находят друг друга члены будущей стаи, в то время как мысль — знак одиночества. Мнение торопится выкрикнуть — мысль носят внутри. Мнение ищет резкости выражения, мысль — ясности. Мнение ведет к другим людям, мысль — в уединение.

Что же касается мнения творческого, произвол которого будто бы нельзя ограничивать...

Общим местом стало то положение, что «все, что из человека исходит — хорошо, только не мешайте ему высказаться». Это положение ложно. Не все, что из человека исходит — хорошо или хотя бы необходимо.

Желание «выразить себя» редко бывает оправданно. Не все заслуживает «выражения», но только неповторимое по существу или по способу выражения (форме). Творчество не путь «самовыражения». В творческом труде проявляет себя высшая упорядоченность, сосредоточенность внутренней жизни. Личность творит не потому, что ее «обуревают чувства», и не для того, чтобы выразить первые пришедшие в голову мысли (о творчестве детей и сумасшедших мы сейчас говорить не будем, хотя оно ближе всего к современному идеалу «беспорядочного самовыражения»).

Совсем напротив: человек-творец (в области мысли и слова) — человек, который промолчал, удержал мнение при себе, чтобы продумать мысль до конца. Только невысказанное вовремя мнение становится мыслью. Общество, которое поощряет всякое «мнение», рискует остаться вовсе без мыслей.

Хуже: устраняя всякие препятствия между желанием высказаться, речами и слушателем, мы обесцениваем слово. Нет никакой ценности суждений «вообще», ради которой стоило бы умножать их без конца. Ценно или то, что верно и ново, или то, что удачно выражено. Слово, ничем не ограниченное на пути от желания до высказывания, есть блуд. Смерть всех искусств, имеющих своим орудием слово, — первое следствие ничем не ограниченной свободы высказывания.

Почему так происходит? Дело не только в строгом внутреннем суде, которым творец судит свои создания и который отменяется «самовыражением». Дело еще и в редко рассматриваемой общественной стороне творчества. Во всякой умственной деятельности, пока она имеет смысл, не омертвела, не стала пустой самоцелью, — есть начало состязания. Есть творческая сила, есть правила ее применения, есть судьи и оценщики.

Начало состязания уходит на наших глазах из культуры, потому что состязание предполагает как строгие правила, так и ограничение числа участников. Правила отменяются «самовыражением», а число участников становится неограниченным: хотя печатный станок и умирает, его заменяют другие средства распространения мыслей. Состязательность уничтожается под громкие слова о демократии, хотя что может быть демократичнее состязания?

И что еще любопытно: «освободительное движение» последних столетий прежде всего заботилось о том, чтобы устранить состязание ценностей (то есть «демократию»). Освободители знали, что их ценности никогда не получат общей поддержки. Первый шаг на этом пути — отказаться от общепринятых правил оценки. В литературе, скажем, судить писателя не по его мысли и слогу, а по «смелости и честности». Хорошо также «разнообразия» (новейшее поветрие) как мера достоинств. Главное — запутать правила и призвать к оценке неопытных или просто негодных оценщиков.

Рассвобождение, взятое как философия и самостоятельная цель, всегда было враждебно началу состязания и свободного выбора. У «освобождаемых» писателей не спрашивали, ломать ли русское правописание; у «освобождаемого» народа не осведомлялись, что он думает об уничтожении храмов. Принуждение и кнут суть первые средства освободителей.

Впрочем, мы уклонились в сторону.

Обобщим сказанное: если мы одним и тем же словом (например, «искусство») называем и нечто с ясными правилами и с ограниченным числом участников и оценщиков, и нечто не отвечающее такому определению, то для одного из этих предметов надо придумать другое название. Можно и не придумывать, но тогда нас ждет путаница понятий и сравнение вещей, между собой не сравнимых.

Итак, мы пришли к разделению. Потребность выкрикнуть, «заявить несогласие», утвердиться через объединение с подобными себе есть потребность в «мнениях». Это потребность общественная, разделяющая и связывающая человека с другими. Общеобязательной ценности «выкрик» не имеет... Только по недоразумению эту потребность смешивают (чем дальше, тем больше) с другой: с потребностью в уединенной мысли, которая никого и ни с кем не объединяет, напротив — уводит в пустыню, и которая ценится обществом тем больше, чем это общество, по своей природе, дальше от толпы. Личность ищет глубины и своеобразия; толпа — знаков родства и отталкивания, чтобы вместе нападать и вместе убежать...

Глубина мысли и пресловутое «многообразие мнений» друг другу противоположны. Глубоко продуманных, цельных взглядов на жизнь никогда не бывает много; большинство предпочитает принять тот или иной глубоко разработанный взгляд вместо того, чтоб разрабатывать его самостоятельно, и это естественно. «Многообразие» возможно только для неосновательных, непродуманных, не вытекающих из вчувствования в предмет мнений, словом — для мнений поверхностных. Оно хорошо для первоклассников, не для зрелого общества.

Будем же пестовать мысли и воздерживаться от мнений.

XXII. ВЛАСТЬ ПОШЛОСТИ

Достижение нового времени — человек, у которого не было жизни ума и духа, а только вереница несвязных впечатлений, которые копятя по мере того, как он исполняет всё новые жизненные роли: школьника, студента, наемного служащего, «научного работника». За этой внешней суетой нет внутреннего ядра, независимой личности, которая судила бы о событиях внешнего мира. На личность у современного человека «нет времени», она ему не по карману: ему всегда нужно то учиться, то жениться, то зарабатывать; когда тут еще думать и чувствовать. Не по карману ему и незаемное мировоззрение, и ясная речь, способная выразить глубокие переживания, как и сложные мысли. Такого человека на всех путях подстерегает пошлость.

Наши дни, поскольку речь идет о личности и ее культуре — дни господства пошлости. Пошлость пляшет, пошлость пишет, пошлость учит. Но что это за стихия, как ее определить? Дать определение «пошлого» не так легко, как его заметить. Оно проявляет себя во множестве никак, на первый взгляд, не связанных областей. Расхожее представление о пошлости уравнивает ее с низостью мыслей, распущенностью нравов. Противоположность таким образом понятой пошлости видят в «романтике». Однако непосредственной связи между «низким» и «пошлым» нет.

Поговорим об этом подробнее. Что такое эта «пошлость» и в чем себя проявляет?

Описать пошлость легче, чем определить ее существо.

Мы можем сказать о ней, например, что пошлость всегда притязает, но никогда не может. Она самозванка. Задача ее — убедить публику в своей подлинности; ее почва — незрелый, невоспитанный вкус. Публика и хотела бы видеть талант, но не в силах отличить талант от фигляра, и на место таланта приходит пошляк.

Мы можем сказать и так: пошлость — незрелость, неестественность, манерность, неспособность стать в полный рост. Пошлость прежде всего хочет казаться чем-то таким, чем не является, а уже потом глупа или невежественна. Пошлость есть подделка.

Легко заметить, что пошлость, как и ее двоюродная сестра — полуобразованность, смешлива. Ее склонность к хихиканью невозможно не заметить, но трудно понять. Да что такого во всем полновесном, полноценном, трудно-сложно-прекрасном, что оно вызывает смех? Причина проста. Смеющийся чувствует себя выше осмеиваемого. Пошляк всё знает точно — из учебника или от людей своего круга. Что в это «знание» не вмещается, достойно осмеяния. Такова уж общая склонность людей неразвитых, а господство «единой истины» в последние сто лет — ее усилило. По сути же, простое

здесь смеется над сложным.

Смех — защитное приспособление пошлого ума. Не просто так он осмеивает всё выходящее из плоскости «общепонятного». Во всех вещах, эту плоскость превосходящих, он видит себе угрозу. Задуматься о «неположенном», «не всеобщем» — значит хоть на минуту, да стать выше плоскости. Такие попытки наказываются осмеянием, тем «простым и здоровым смехом», который принято связывать с т.н. «здравым смыслом».

Можно и то заметить, что пошлость боится волнения, искренности, человечности, естественности, непосредственности, удивления, восхищения, надежды... Все это для нее слишком «детское» и «незрелое», все это осмеивается. Можно подумать, что перед нами плоды излишней зрелости, чрезвычайной мудрости. Но нет, напротив: перед нами не излишняя, а недостаточная зрелость чувства. Без упражнения оно засохло во младенчестве.

Пошлость — дитя свободы без одиночества. Она подстерегает человека, предоставленного — не «самому себе», но среде, не превышающей его уровня. Пошлость закрывает человеку доступ ко всем высшим переживаниям и замыкает его в области «обыкновенного». Иногда это сопровождается первобытным опрошением личности, иногда довольно и «усреднения» до некоего общедоступного уровня. Но и в этой разновидности пошлость враждебна всему высшему, приговаривая: «Это когда-то давно было уместно, но не сейчас, сейчас время положительных ценностей!»

Мастерство слова пошлости ненавистно, как все, обличающее высшее душевное развитие. Пошлость обожает «срывать покровы». Ясность, сложность — «не нужны», это «не настоящее», «про неправду-с писано». Однако пошлость может быть «романтической». Она даже тяготеет к превысренности, когда речь идет о чувствах. Правда, превысренность эта топорная, домашнего изготовления, но иначе и быть не может. Дело в том, что пошлость «не умеет» испытывать чувства — не в том смысле, что их нет у нее, а в том, что не может их выразить и, следовательно, истолковать. Ей нужны заемные слова, и чем «красивей», чем громче — тем лучше.

Не просто слову враждебна пошлость: и самому творчеству. Творчество обращено к личности, пошлость к толпе. Только первым наслаждаются в одиночестве; второе без людского множества не существует. Пошлomu противостоит неповторимо-личное. Пошломое всегда с чужого плеча, поношенное, со слуха и из книг, «как у всех».

Где рождается пошлость? Там, где уже есть желание радоваться чему-то, кроме непосредственных впечатлений бытия, но нет умения отличать плоды усилия и труда от фиглярства. Потребность в чем-то (не скажу даже: в искусстве) уже есть, судящей способности — нет.

И вот еще определение пошлого: легкодоступное для людей, не приученных к внутреннему труду. Пошлость создается полуобразованностью, полуобразованность же — получением суммы знаний без суммы привычек к труду. Что еще горше — сумма эта дает получившему ложное чувство всезнания... Как говорил один скучающий недоросль: «Мне скучно, я уже всё знаю!» Это и есть состояние человека пошлости. Он скучает, ему надо развлечься.

Пошлость цветет в условиях свободы. Сама ли свобода в этом повинна или разрушение культурных и бытовых основ, бывших до нее? Притом же пошлость не тождественна невежеству и «простоте». Совсем напротив. Есть пошлость нахрапистая, а есть полуобразованная. Почва у них одна: лень ума, а за ней — приверженность «схеме», простейшему объяснению. Пошлость — не осознавшая себя «схема», одичавшая и обросшая шерстью.

Что же касается «простоты»... Пока еще был «простой», т.е. не затронутый городским влиянием, народ — пошлость зацветала в нем только там, где он соприкасался с городским полуобразованием, т.е. переставал быть «народом», не став чем-то другим, высшим. Пока народ был самим собой, он обладал своими ценностями, которые принимались всерьез, без озорства и фиглярства. Вкус к пошлости есть вкус к красивенькому, не к красивому. Красивое требует труда, серьезности, воплоти его в «народном» или «дворянско-интеллигентском» облике. «Красивенькое» доступно каждому.

Пошлость — выражение болезни вкуса. Вкус дается или традицией (в этом случае он безличный, поколениями выработанный и сохраненный), или личным развитием. Слегка преувеличив, можно сказать: область пошлости лежит между талантом (человеком внутреннего труда) и обычаем. Сила обычая, к сожалению, угасла (вернее, уничтожена) без остатка. Область внутреннего труда почти отсутствует в мире «дипломированных специалистов» или тех, кто готовится ими стать. Это звучит странно — как «специалист» может быть без труда? Однако приобретение специальных знаний, как мы говорили в другом месте, само по себе еще не учит трудиться.

Пустота между обычаем и высокоразвитой личностью заполняется посредственностью, средства выражения и вкусы которой диктуются сбережением усилий при ограниченной судящей способности, поиском наименьшего общего знаменателя; всем доступного объяснения; вообще того, что всем по плечу.

Пошлость есть подражательная бесформенность. Вопрос о пошлости — вопрос о форме и двух ее источниках: обычая и личном развитии. Есть и третий, смешанный и самый плодотворный: обычай, питающий личное развитие. Благодаря этому третьему источнику, опорой культуры было когда-то дворянство. Обычай двуедин: он не просто учит почитать предков и богов, он еще и требует от нас: быть такими, чтобы не постыдились предки и не отвергли боги. Научая личность почитанию того, что прежде и того, что выше, он поощряет ее развитие. Обычай и религия создают личность; вернее, она растет в их свете.

Пошлость находится в прямом родстве с полуобразованностью, о которой мы не раз говорили. Известный каждому пример полуобразованной пошлости — Хлестаков. Ко всему он чувствует себя способным, ничего толком не умея. А что такое полуобразованность? Поверхностно развитые способности без ума и воли, способных их направить. Надо помнить, кстати, что при социализме в России ум был подменен «способностями». Последние поощрялись, первый сознательно ограничивался, если не прямо наказывался. А ведь, как говорит П. Муратов: «способный — совсем еще не значит умный в серьезном значении этого слова». «Способности» — только вспомогательные силы при уме и душе, нечто боковое по отношению к личности. Поощряя одни только маленькие способности, мы воспитываем посредственность. Есть, разумеется, еще более прямой способ насаждения посредственности — через угнетение всех вообще способностей, а не только высших; через поощрение растительного способа существования — путем потребления, а не производства ценностей. Этот способ нам, русским, тоже теперь знаком...

Школа, которая печется о «способностях» учеников, но не развивает их умственно, так же не достигает цели, как школа, занятая прежде всего тем, чтобы одни ученики не были способнее других. Недостаток «способностей» (но и удобство для государственной власти определенного рода) в том, что всякая способность есть умение делать нечто, в самом себе уже ограниченное, подразумевающее неспособность ко всему остальному. Человеку во взрослой жизни прежде всяких умений понадобится ум — первоспособность, если так можно выразиться, широко обтекающая все маленькие способности, о «развитии» которых печется та школа, что готовит работника, а не человека...

При всем вышесказанном — ум ленив. Предоставленный самому себе, он выбирает кратчайшие пути. В области мышления это «схемы»; в области прекрасного, вообще внешних форм — это «общедоступное»; что же касается языка, его поражает безъязычие — темнота выражения при простоте содержания. Только обычай или воспитание выгоняют ленивый ум из его норы — к радости сложного. Иначе под покровом «всеобщего просвещения» будет нежиться умственная лень. Пока мы не возьмемся за воспитание вкуса к сложности — нечего и ждать улучшения. Волна развлечений, подвижных игр, более или менее неумных, но развлекательных книжек — вкуса к сложности не воспитывает. Нужно нечто иное. И обращаться с этим «иным» можно только к тем, кто еще не прошел школу усреднения... Бороться с полуобразованностью через обращение к самим полуобразованным бесполезно, так как они «непромокаемы», как говорил протопресвитер Шмеман, ко всяким доводам разума. То же и с пошлостью.